

Содержание

От редактора

7

Соглядатай

Повесть

11

Рассказы

Обида

99

Лебеда

113

Terra Incognita

124

Встреча

136

Хват

149

Занятой человек

164

Музыка

181

Пильграм

190

Совершенство

212

Случай из жизни

228

Красавица

238

Оповещение

245

Соглядатай

Повесть

1

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера — в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унижительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: «Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет

зонт обратно». С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне — эта разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в пурпурный комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено, и когда, отведя восвояси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмокания и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостиях вместе, — муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак, перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, — что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан. Этот зонтик, — потом, в квартире у Матильды, — распятый вблизи парово-

го отопления, все капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку («Мурочка, история одной жизни»). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделывать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор — о муже. Этот человек — благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если б узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив. Я старался переменить разговор, но это был Матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделял внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия и действительно сейчас в Париже, почуя беду, таращит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рас-
светного ветерка горит лицо, как после грима, каж-
дый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, по-
ворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я див-
люсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх.
В самом деле: человеку, чтобы счастливо существо-
вать, нужно хоть час в день, хоть десять минут су-
ществовать машинально. Я же, всегда обнаженный,
всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать
за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея
от мысли, что не могу забыться, и завидуя всем тем
простым людям — чиновникам, революционерам,
лавочникам, — которые уверенно и сосредоточен-
но делают свое маленькое дело. У меня же оболоч-
ки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра,
цокая каблуком через пустыню города, я вообра-
жал человека, потерявшего рассудок, оттого что
он начал бы явственно ощущать движение земно-
го шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за ме-
бель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь,
как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит:
«Здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шатко-
сти и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы ли-
мон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все — по-
напрасну. Движение остановить нельзя, машинист
слеп, а тормоза не найти, — и умер бы он от разры-
ва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво
спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, ко-
торая на лестнице или у подъезда искусно науськи-

вала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошипеть: «Сумасшедший мальчик...» — Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где служил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку немку, у которой прежде снимал комнату, — вот и обчелся. Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречному тяжелел, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух «Роман с контрабасом», тщетно пытаюсь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчики сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же

остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубку к уху. Мои ученики стояли подле — один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. «Сейчас собираюсь к вам, — сказал мужской голос. — Вы будете дома, надеюсь?» Я спросил: «Кто говорит?» — «Не узнаете? Тем лучше — будет сюрприз», — сказал голос. «Но я хочу знать кто», — настаивал я со смехом. (Потом я не мог без ужаса и стыда вспомнить жеманную игривость моего тона.) «Преждевременно», — сухо сказал голос. Тут я вконец расшалился: «Отчего? Отчего? Вот это забавно...» Заметив, что говорю с пустотой, я пожал плечами и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, я сказал: «Ну, где же, значит, мы остановились?» — и, найдя место, продолжал чтение.

Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я все рассуждал про себя, кто этот гость. Приезжий из России, быть может? Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса — их было, увы, немного, — остановился почему-то на студенте Ушакове... Мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова, как сокровище. Когда, среди разговора, при случайном упоминании о «Гаудеамусе» и студенческой бесшабашности, я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову, хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды (о политических или иных пустяках, не помню). Вряд ли, однако, он был бы так таинственен по телефону. И я терялся в догадках, во-

ображая то агента коммунистического союза, то чу-
дака-миллионщика, которому нужен секретарь.

Звонок. Мальчики опять опрометью бросились
в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удо-
вольствием, со знанием дела отодвинули стальной
болтик, что-то еще поковыряли, и дверь открылась...

Странное воспоминание... Даже теперь, когда
многое изменилось, — даже теперь я слегка замираю,
вызывая из памяти, как опасного преступника из ка-
меры, то странное воспоминание. Тогда-то обруши-
лась, совершенно беззвучно — как на экране, — це-
лая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится
нечто потрясающее, но на лице у меня, несомненно,
была улыбка, и, кажется, угодливая, и моя рука, ко-
торая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту
пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыта-
лась довести жест, звеневший у меня в голове сло-
вами: элементарная вежливость. «Убрать руку», —
было первое, что сказал гость, глядя на мою протя-
нутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь.

Недаром я давеча не узнал его голоса. То, что
телефон передал как некоторую натуженность, ис-
казившую знакомый тембр, было на самом деле со-
вершенно исключительным бешенством, густым
звуком, которого я до тех пор не слышал ни в од-
ном человеческом голосе. И как живая картина сто-
ит эта сцена у меня в памяти: ярко озаренная при-
хожая, я, не знающий, что делать с непринятой
моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядя-
щие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот

гость, в оливковом макинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, словно огорошенный магнием, — глаза навывкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой. И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная, толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. «В чем дело? — спросил я. — В чем дело? Недоразумение, кажется... Кажется, какое-то недоразумение...» И тут для непристроенной и еще томившейся моей руки я нашел унижительное, невозможное место: в смутном стремлении сохранить свое достоинство я опустил руку на плечо ученика; мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. «Вот что, господин хороший, — вдруг брызнул гость, — отойдите-ка от них малость: я их трогать не буду, можете не защищать, — а мне нужен простор, так как я собираюсь из вас пыль выколачивать». — «Вы в чужом доме, — сказал я. — Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите...»

Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу, горячо и звучно, и я от силы удара ухнул в сторону, плетеное кресло отпрянуло от меня как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы; удар пришелся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, проскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот еще любопытная подробность: я ведь в голос кричал, звал его по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал. Когда он опять меня на-

стиг, я попробовал защититься какой-то схваченной на ходу подушкой, но он выбил ее у меня из рук. «Это безобразие, — крикнул я. — Я безоружный. Меня оклеветали. Вы за это дорого...»

Опять. Отступая, я зашел за стол, и на минуту все оцепенело снова живой картиной. Он стоял, скалясь и подняв трость, а за ним, по сторонам двери, застыли мальчики, — и быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но, ей-Богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И погода все опять пришло в движение, мы все четверо перешли в следующую комнату, — он попал мне в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом шархнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорбил, и даже теперь, под его тяжелой тростью, не только не умел перейти в нападение, будучи несведущ в мужественных приемах, но — даже в эти минуты боли и унижения — не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно ежели ближний гневен и мускулист, и не пытался бежать к себе в комнату, где в ящике был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков.

Созерцательное оцепенение моих учеников, различные позы, в которых они, как фрески, застывали по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я поя-

тился в темную столовую, — все это, должно быть, обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортерском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем (такой-то по пути на конференцию). На самом же деле они, по-видимому, не все время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, — попытка, сразу пресеченная громовым окриком, — но я не знаю, куда поместить эту минуту, в начало или в самый конец, после того апофеоза страдания и ужаса, когда, упав мешком на пол, я подставлял круглую спину ударам и хрипло повторял: «Довольно, довольно, у меня больное сердце, довольно, у меня больное...» Сердце мое, отмечу в скобках, всегда работало исправно.

И через некоторое время все кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой; постоял, поглядел и, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и направился к себе в комнату. Мальчики бегом последовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ, обмыл лицо, чуть не крича от едкого прикосновения воды, и затем, вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепили слезы.